

# Глава 10. ШИВА- РАЗРУШИТЕЛЬ

Программная работа Бакунина «Государственность и анархия» заканчивается знаменательным призывом[36]: «<...> На нашем знамени... огненными, кровавыми буквами начертано разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов — организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира». В других работах пояснялось, что именно подлежит уничтожению — политическая система государства, банки и финансовая монополия в целом, церковь, правоохранительные органы и юридические институты, университеты, армия, полиция (все они созданы эксплуататорским меньшинством в первую очередь для подавления — физического, материального, морального и идеологического — эксплуатируемого большинства). В приведенном тезисе ничего нового нет: в разных вариантах эти мысли красной нитью проходят через другие печатные труды и агитационные материалы «отца анархии», не говоря уже о его многочисленных устных выступлениях и заявлениях.

Однако (что уже неоднократно отмечалось выше) для Бакунина как прирожденного диалектика, впитавшего ее непосредственно из немецкой классической философии, «разрушительный тезис» просто не мог существовать исключительно в первично-изолированной форме. Свою истинность он обретал только в неразрывном единстве с последующими шагами, приводящими к диалектическому синтезу. Поэтому, подобно верховному ведийско-индуистскому богу Шиве, олицетворяющему два неразрывно связанных и взаимодополняющих начала — разрушение и созидание, — Бакунин также постулирует или мысленно производит разрушение ради созидания. Во все той же «Государственности и анархии» он провозглашает: «Будет время, когда не будет более государств — а к разрушению их стремятся все усилия социально-революционной партии в Европе, — будет время, когда на развалинах политических государств оснуется, совершенно свободно и организуясь [так!] снизу вверх, вольный братский союз вольных производительных ассоциаций, общин и областных федераций, обнимающих безразлично, потому что свободно, людей всех языков и народностей. <...> Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, доступный для всякого, и потому действительно народный, путь анархической социальной революции, возникающей самостоятельно в народной среде, разрушающей все, что противно широкому разливу народной жизни, для того, чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной общественности».

Бакунин не часто называл себя анархистом, а свое учение анархизмом, хотя слово «анархия» встречается уже в самой первой его печатной работе «Гимназические речи

Гегеля». При этом он вкладывал в эти понятия далеко не тот же самый смысл, какой обычно вкладывала широкая публика, большинство непримиримых его противников и даже сторонников. Бакунисты отрицали не только государство как инструмент тотального насилия над народом вообще и над всякой личностью в частности. Они, к примеру, отвергали парламентские формы политической борьбы вместе с всеобщим избирательным правом. «Одним словом, — провозглашал Бакунин, — мы отвергаем всякое законодательство, всякую власть, всякое привилегированное, патентованное, официальное и законное влияние, хотя бы оно и вытекало из всеобщего голосования, ибо мы убеждены, что оно всегда будет выгодно господствующему меньшинству эксплуататоров и вредно огромному большинству оскорбленных. В этом смысле мы действительно анархисты».

Представляя грядущую социальную революцию как единство двух диалектически взаимосвязанных сторон — отрицательной и положительной, — Бакунин видел в негативном аспекте уничтожение всего, что «разоряет и угнетает народную жизнь», к числу же позитивных задач относил создание совершенно новой организации «более или менее освобожденного общества». Под ним мыслилась добровольная, абсолютно свободная федерация коммун и ассоциаций трудящихся, создаваемых на основе действительного желания народа, а не путем «произвола и фантазии главарей». Таков вкратце идеал анархического переустройства и будущей организации общества. Отсюда понятно, почему Бакунин и его единомышленники предпочитали называть свою социальную концепцию не только и даже не столько анархизмом, сколько федерализмом (а себя, соответственно, именовали федералистами)[37].

Что касается термина анархии (от греч. *anarchia* — «безвластие», «безначалие»), то к настоящему времени это понятие достаточно дискредитировано совместными усилиями критиков и оппонентов разного калибра и различной политической ориентации, но еще больше — самими анархистами, безуспешно пытавшимися реализовать его на практике. Причем «практика» выражалась не только в актах индивидуального террора. Применительно к собственно анархистам, последний более прижился на Западе; в России пальма первенства оставалась у «бомбистов»-народовольцев и социалистов-революционеров (эсэров), одинаково высоко чтивших Бакунина как одного из своих идейных предтеч. В России практическая реализация анархических идей известна и в другой, так сказать, «натуральной» форме — в попытке создания в годы Гражданской войны «безвластного государства» (со столицей в Гуляйполе) на украинской территории, занятой повстанческой армией убежденного анархиста Нестора Ивановича Махно (1888–1934).

«Анархизм есть свободная жизнь и независимое творчество человека, — писал Махно. — <...> Природа человека анархична: она противится всему, что ее стесняет. <...> Анархизм вносится в человеческую жизнь природой человека; коммунизм — логическим развитием анархизма. <...> Неизменное в научном анархизме — это его естественная сущность, которая в своих основных чертах выражается в отрицании всяких цепей, всякого порабощения человека. Вместо цепей и рабства, которые царят над жизнью человека и которых и социализм не уничтожает, анархизм сеет свободу и безграничное право на нее человека» (выделено мной. — В. Д.).

Касательно объективно-природных корней анархизма «батька» Махно как в воду глядел. В середине XX века лозунг «Анархия — мать порядка», давно ставший карикатурным стараниями неразборчивых беллетристов и кинематографистов, вдруг получил неожиданное подтверждение со стороны естественно-математических наук, причем на самом что ни на есть высоком уровне. Речь идет о теоретических работах нобелевского лауреата, бельгийского физико-химика русского происхождения Ильи Романовича Пригожина (1917–2003), где дается комплексное обоснование современной синергетики [38] (за это, собственно, и была присуждена Нобелевская премия). Согласно Пригожину, если перевести сложный язык математических формул на житейские понятия, то выходит, что объективный мир, включая человека, представляет собой нелинейные системы, находящиеся в состоянии первозданного хаоса. Хаос первичен, порядок же есть производное от него и потому вторичен [39]. Без исходного хаоса порядок попросту не мог бы возникнуть и не смог бы существовать. Кроме того, именно хаотическое движение обеспечивает жизнь, а порядок — смерть. Одна из наиболее известных книг Ильи Пригожина, написанных им в соавторстве с Изабеллой Стенгерс, так и называется — «Порядок из хаоса». Вот и посудите теперь, кто, в конечном счете, оказался прав — анархисты или их многочисленные критики?

Конечно, прямая экстраполяция чисто природных закономерностей на общественную жизнь в современной философии не поощряется, но никто и не пытается это сделать. Речь идет о некоторой общей закономерности: никакой порядок не возникает непосредственно из порядка; в той или иной степени ему всегда предшествует хаос. А выводы делайте сами! Бакунин лишь обнажал существо проблемы, хотя некоторые из его последователей пытались ее абсолютизировать. По счастью, не все. Наиболее крупный из русских идеологов анархизма, продолжателей дела Бакунина, П. А. Кропоткин всю свою долгую жизнь посвятил обоснованию простых и понятных каждому «анархических истин»: анархия в природе неразрывно связана с взаимопомощью, она же является главным фактором эволюции (вопреки Дарвину, сводившему первооснову жизни к борьбе за существование).

Что касается социальной сферы, то здесь анархический идеал в будущем должен реализоваться в форме справедливости, солидарности, нравственности и гуманизма. Никакая борьба не может иметь успеха, если она остается бессознательной, если она не отдает себе конкретного, реального отчета в своих целях. Никакое разрушение существующего, считал Кропоткин вслед за Бакуниным, невозможно без того, чтобы уже в момент разрушения и борьбы, ведущей к разрушению, люди не представляли себе в уме, что появится на месте разрушения. Невозможно даже теоретически критиковать существующее, не рисуя уже себе в уме более или менее определенный образ будущего. Сознательно или бессознательно идеал — понятие о лучшем — рисуется в уме каждого, кто критикует существующие учреждения. Это особенно относится к человеку действия. Сказать людям: «Давайте сначала разрушим капитализм или самодержавие, а потом мы увидим, что поставить на их место», — значило бы просто обманывать себя и других. Никакие реальные силы нельзя создать обманом. И действительно, даже тот, кто говорит таким образом, имеет какое-нибудь представление о том, что он желал бы увидеть на месте того, на что он нападает.

Бакунину грядущее общество равенства, гармонии и справедливости рисовалось в русле неоднократно обнародованных идей. Будущая социальная организация непременно должна быть реализована по направлению снизу вверх, посредством свободной ассоциации или федерации рабочих, начиная с союзов, коммун, областей, наций и кончая великой международной федерацией. И только тогда осуществится целесообразный, жизнеспособный строй, тот строй, в котором интересы личности, ее свобода и счастье не будут больше противоречить интересам общества. Говорят, замечает Бакунин, что интересы отдельных лиц несовместимы и несогласуемы с интересами общества, что их гармония никогда не будет фактически осуществлена в силу их органической противоположности. На такое возражение он отвечал: если до настоящего времени эти интересы никогда и нигде не были во взаимной согласованности, причина этого было государство, жертвовавшее интересами большинства в пользу привилегированного меньшинства. И вся эта пресловутая несовместимость и эта мнимая борьба личных интересов с интересами общества есть не что иное, как политическое надувательство и ложь, получившая свое начало в теологической лжи, измыслившей доктрину первородного греха, чтобы обесславить человека и уничтожить в нем сознание своей ценности. Именно такая ложная идея о несовместимости интересов в свое время была усвоена и философией...

А как понимали анархисты XX века — продолжатели дела Бакунина и Кропоткина — будущий «идеальный» строй жизни? Точно так же, как и их учитель. Никаких властей, которые навязывают другим свою волю, никакого владычества человека над человеком, никакой неподвижности в жизни, а вместо того — постоянное движение вперед, то более скорое, то замедленное, как бывает в жизни самой природы. Каждому отдельному лицу предоставляется, таким образом, свобода действий, чтобы оно могло развить все свои естественные способности, свою индивидуальность, то есть все то, что в нем может быть своего, личного, особенного. Другими словами — никакого навязывания отдельному лицу каких бы то ни было действий под угрозой общественного наказания или же сверхъестественного мистического возмездия: общество ничего не требует от отдельного лица, чего это лицо само не согласно добровольно в данное время исполнить. Наряду с этим — полнейшее равенство в правах для всех.

«Мы представляем себе общество равных, — писал П. А. Кропоткин, — не допускающих в своей среде никакого принуждения; и, несмотря на такое отсутствие принуждения, мы нисколько не боимся, чтобы в обществе равных вредные обществу поступки отдельных его членов могли бы принять угрожающие размеры. Общество людей свободных и равных сумеет лучше защитить себя от таких поступков, чем наши современные государства, которые поручают защиту общественной нравственности полиции, сыщикам, тюрьмам — то есть университетам преступности, — тюремщикам, палачам и судам. В особенности сумеет оно предупреждать самую возможность противообщественных поступков путем воспитания и более тесного общения между людьми. Поэтому мы вправе сказать, что анархия представляет собой известный общественный идеал, существенно отличающийся от всего того, что до сих пор восхвалялось большинством философов, ученых и политиков, которые все хотели управлять людьми и давать им законы. Идеалом господствующих классов анархия никогда не была. Но зато она часто являлась более или менее осознанным идеалом масс».

До самого последнего вздоха Кропоткин продолжал трудиться над трактатом (он называется «Этика»), посвященным доказательству тезиса о тождественности анархической и коммунистической морали. Главную книгу своей жизни восьмидесятилетний Кропоткин завершал уже при советской власти. Ее самой он, будучи убежденным антигосударственником, естественно, не признавал, хотя конкретные шаги, направленные на улучшение жизни и благосостояния народа, приветствовал и даже встречался с В. И. Лениным: тот лично приезжал к патриарху русского революционного движения для обсуждения в неформальной обстановке животрепещущих вопросов.

\* \* \*

Однако за полвека до этого в «анархической среде», где задавал тон Бакунин, на повестке дня стояли совершенно другие проблемы, связанные с активизацией революционной ситуации в России. На определенное время здесь возобладали идеи, связанные с именем, быть может, самой одиозной фигуры революционного движения XIX века Сергея Геннадьевича Нечаева (1847–1882). На несколько лет судьбы Бакунина и Нечаева тесно переплелись. Их первая встреча произошла в 20-х числах марта 1869 года в Женеве, когда Сергей, преследуемый охранкой за участие в студенческих волнениях, с чужим паспортом бежал за границу. До этого он преподавал в столичном приходском училище и одновременно считался вольнослушателем Петербургского университета. На Бакунина новоявленный гость произвел неизгладимое впечатление. Но не тем, что представился функционером несуществующего Всероссийского революционного комитета, чудом бежавшим из Петропавловской крепости, а революционной одержимостью, несгибаемой волей и страстностью, гипнотически действовавшей на окружающих.

Именно эти качества позволили Нечаеву спустя некоторое время — будучи уже не мнимым, а настоящим узником Алексеевского рavelина — до такой степени «перевербовать» охрану, что она была готова не только к освобождению заключенного, но и к вооруженному выступлению на его стороне против официальной власти. Кому еще в мировой истории удавалось такое? Если бы не предательство провокатора, неизвестно, чем бы все кончилось.

Так вот, когда Нечаев пришел к человеку, которого считал главным идейным вдохновителем революционной российской молодежи, Бакунин поверил ему сразу и безоговорочно. Огарев тоже (он, собственно, и направил Нечаева к Михаилу). Только Герцен засомневался в искренности молодого эмигранта, а написанную им прокламацию посчитал не слишком грамотной и содержательной.

Их конечно же покоробили некоторые черты характера и особенности поведения молодого адепта: угловат, несдержан, мало эрудирован, груб, грызет ногти — первый признак нервного, неуравновешенного человека. Но в глазах — огонь и пламень, в движениях — неукротимая энергия, отрывистая речь выдает прирожденного вожака. А разве Степан Разин или Емельян Пугачев другими были? Отнюдь! Еще грубее! Еще безграмотнее! Еще безнравственнее! Главное ведь совсем в другом: как народ пробудить и поднять на святое дело, а потом в узде удерживать и непрерывно следить, чтобы никто и ничто не отклонилось от заданного направления! Для этого нужны именно такие люди, как Нечаев, —

фанатично преданные революции, имеющие магическое воздействие на окружающих, способные к полному самоотречению во имя свободы. Только «неподкупные Робеспьеры» способны возглавить революцию и без колебания, недрогнувшей рукой развязать массовый террор, жертвой которого, в конце концов, они сами и становятся. Ну и, наконец, далеко не последний аргумент — молодость! За плечами Бакунина и Герцена с Огаревым — богатая событиями, но уже почти что до конца прожитая жизнь. А у Нечаева молодость, жажда конкретной и содержательной деятельности, неизбывная энергия так и прут через край. Так пусть же использует он их сполна на дело революции в России.

Бакунин и Огарев возлагали огромные надежды на молодую Россию, считая, что только она одна и способна всколыхнуть застоявшееся болото русской жизни. Вот что писал Бакунин в пору своего знакомства и сближения с Нечаевым в одну из французских газет: «<...> Я заявляю с гордостью и радостью, что наша русская молодежь, — я говорю, само собой разумеется, о большинстве ее, — горячо реалистична и материалистична в теории, но в то же время идеалистична на практике в том смысле, что она с таким ярким рвением домогается истины, что равнодушно переносит жесточайшие лишения, зачастую даже недостаток в необходимой одежде, голод и холод, и для нее победа великого принципа равенства, составляющего ныне все ее исповедание, стоит превыше всех соображений карьеры, доходного места и личностей. Их юношеский энтузиазм не гасится теми соображениями относительно будущего, от которых кровь в жилах ваших студентов течет более вяло и которые обуславливают то, что в самых задорных и воинственных героях ваших университетов уже обнаруживаются задатки завтрашнего филистера, мирного и преданного подданного. И, в противоположность буржуазной молодежи Парижа, она не растрчивает свою энергию и силы на публичных балах. Наша учащаяся молодежь, вышедшая, по большей части, из народа и вследствие своей бедности принадлежащая еще народу, ведет — по крайней мере большинство ее — жизнь самоотречения: она страдает, она учится, и она устраивает заговоры.

Благодаря этому практическому идеализму, воодушевляющему ее, она и способна ныне посвятить себя всецело великому делу освобождения народа. Этот идеализм порождается двумя причинами: основной причиной является, несомненно, именно это тяжелое положение, эта благая нищета нашей молодежи. Она видит, что не только ее настоящее, но и все ее будущее осуждено вследствие политической, экономической и общественной организации империи. Не так ли? Ведь мы оба, гражданин редактор, в достаточной мере социалисты, чтобы знать, что материальные условия оказывают чрезвычайно мощное влияние на характер и на теоретические и практические стремления отдельных лиц. Поэтому мы, значительно менее кровожадные, нежели государственные мужи всех оттенков — реакционеры или якобинцы, мы требуем, чтобы во время всеобщей социальной революции, приближающейся гигантскими шагами, с неуклонной последовательностью уничтожались государства, привилегированные положения и так называемые правовые отношения, существующие ныне между людьми и вещами, — но не люди. Не так ли?»

У Бакунина в квартире была свободная кровать, где обычно ночевал кто-нибудь из приезжих посетителей, и Нечаев не отказался от его гостеприимства. Наступил «медовый месяц» в их отношениях. Вернее, под одной крышей они провели не один, а почти четыре месяца. Представленный Сергеем план издания массовых тиражей листовок и агитационных

брошюр, которые он сам же и брался нелегально переправлять в Россию, не только не вызывал сомнений, но и внушал оправданный оптимизм. И вскоре прокламации и брошюры посыпались как из рога изобилия — одна хлеще другой. Автором большинства из них был Бакунин, отчасти — Огарев, большой мастер «листовочного жанра».

Бакунин с Огаревым поспособствовали также тому, чтобы Нечаев получил от Герцена денежные средства для своей издательско-пропагандистской деятельности и организации революционных акций в России. Речь идет о так называемом «бахметьевском фонде», его распорядителями являлись Герцен и Огарев. История этого фонда такова. Летом 1857 года в Лондон к Герцену приехал молодой русский помещик Павел Александрович Бахметьев. Собственно, помещиком к тому времени он уже быть перестал, так как продал свое богатое имение и навсегда покинул Россию с тем, чтобы основать коммуну, построенную на социалистических принципах, не где-нибудь, а аж на Маркизских островах в Полинезии. Перед отплытием в поисках «золотого века» Бахметьев передал значительную сумму из имевшихся в его распоряжении средств «для русской пропаганды» и на дело революции в России. Следы самого Бахметьева после этого полностью теряются, неизвестно даже, достиг ли он вообще новых «блаженных островов» или погиб по дороге, но деньги, врученные Герцену и Огареву, лежали нетронутыми до появления Нечаева. Несмотря на абсолютное недоверие к этому человеку, Герцен был вынужден пойти навстречу настойчивым уговорам Бакунина и Огарева (а последний имел к тому же право решающего голоса) и передал молодому русскому макиавеллисту половину из находившихся в его распоряжении средств.

Итак, работа закипела вовсю, печатный станок в одной из женевских типографий заработал в полную силу, пропагандистское колесо завертелось, а в Россию разными нелегальными путями стали поступать пакеты и свертки с «готовой продукцией». Нечаев, естественно, также не оставался в стороне. Летом все того же 1869 года он издал в Женеве первый номер журнала «Народная расправа», текст которого «от корки до корки» написал сам. Идеи Бакунина здесь льются через край на каждой странице: «Мы имеем только один отрицательный неизменный план — беспощадного разрушения. <...> Сосредоточивая все наши силы на разрушении, мы не имеем ни сомнений, ни разочарований; мы постоянно одинаково, хладнокровно преследуем нашу единственную, жизненную цель».

Однако, оседлав любимого бакунинского конька — разрушение, Нечаев не обратил внимания на другую часть этого тезиса — созидание. Из-за недостаточной образованности он просто не понимал, что у ученика Канта, Фихте, Гегеля и Шеллинга отрицание в принципе не способно носить «зряшный» характер. У Бакунина отрицание не могло быть не чем иным, кроме как диалектическим отрицанием, всегда предполагавшим новый, более высокий и более развитый этап в развитии целостности. В революционном гимне «Интернационал» тоже поется: «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим, / Кто был никем, тот станет всем!» Автор приведенных слов — французский пролетарский поэт Эжен Потье (1816–1887), депутат Парижской коммуны и член Международного товарищества рабочих — был знаком с Бакуниным и его идеями и, как можно судить по приведенным строкам, вполне их разделял. Ведь разрушение мира насилья до основанья — это чисто бакунинский лозунг! Однако у Потье, как и у Бакунина, речь вовсе не идет о разрушении ради разрушения или отказе от участия в строительстве

нового общества. Напротив, упор делается именно на строительство последнего.

В действительности же коллизия между Бакуниным и Нечаевым заключается не в том, что нужно или не нужно строить новый мир на развалинах старого, а в том, когда это следует начинать и кто это будет делать. Бакунин и Потье считали, что это будем делать «мы», а Нечаев — что «не мы», выплескивая тем самым из купели вместе с водой и ребенка: «Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий, как несовместной с нашей деятельностью; и потому считаем бесплодной всякую исключительно теоретическую работу ума. Мы считаем дело разрушения настолько серьезной и трудной задачей, что отдадим ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит сил и умения на созидание». Однако абсолютизация никого еще не приводила к положительному конечному результату...

Среди выпущенных в Женеве прокламаций особенно выделялась написанная лично Бакуниным агитка под названием «Постановка революционного вопроса», которая и привела к окончательному и давно назревавшему разрыву между ним и Герценом. Особенно коробил интеллигентного и осторожного Герцена пассаж о разбойниках как потенциальной силе будущей русской революции. Вот что писал Бакунин: «Разбой — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Разбойник — это герой, защитник, мститель народный; непримиримый враг государства и всякого общественного и гражданского строя, установленного государством; боец на жизнь и на смерть против всей чиновно-дворянской и казенно-поповской цивилизации... Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему, тот не может сочувствовать русской народной жизни, и нет в нем сердца для вековых неизмеримых страданий народных. Тот принадлежит к лагерю врагов — к лагерю сторонников государства... Лишь в разбое доказательство жизненности, страсти и силы народа... Разбойник в России настоящий и единственный революционер, — революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народнообщественный, а не политический и не сословный... Разбойники в лесах, в городах, в деревнях, разбросанные по целой России, и разбойники, заключенные в бесчисленных острогах империи, составляют один, нераздельный, крепко связанный мир — мир русской революции. В нем, и в нем только одном, существует издавна настоящая революционная конспирация. Кто хочет конспирировать не на шутку в России, кто хочет революции народной, тот должен идти в этот мир... Следуя пути, указываемому нам ныне правительством, изгоняющим нас из академий, университетов и школ, бросимся, братцы, дружно в народ, в народное движение, в бунт разбойничий и крестьянский и, храня верную крепкую дружбу между собой, сплотим в единую массу все разрозненные мужицкие [крестьянские] взрывы. Превратим их в народную революцию, осмысленную, но беспощадную».

Последние слова прокламации недвусмысленно перекликаются со знаменитым пушкинским предупреждением о «русском бунте — бессмысленном и беспощадном». Однако после отмены крепостного права и спада революционной борьбы Бакунин не видит в России иной силы, способной поднять на дыбы народ, впавший в летаргический сон. Русские рабочие малочисленны и разрознены, крестьяне инертны, офицеры и солдаты — верные слуги царя, студенты — сплошной треп и вспышкопускательство. А вот разбойники да босяки ни

собственностью не обременены, ни верноподданническими клятвами и обязательствами перед кем бы то ни было. Не колеблясь, бросает Бакунин вызов не только всему общественному мнению тогдашней России, не только либерально-филистерскому лагерю, выступавшему за постепенное проведение косметических реформ и смягчение полицейского режима, но и своим ближайшим друзьям и сподвижникам. Даже Нечаева, как ни странно, покоробили пассажи о «разбойнике-революционере», и Бакунин в письме к своему молодому другу вынужден был подробно комментировать собственную мысль:

«<...> Первая обязанность, назначение и цель тайной организации: пробудить во всех общинах сознание их неотвратимой солидарности и тем самым возбудить в русском народе сознание могущества — одним словом, соединить множество частных крестьянских бунтов в один общий, всенародный бунт. Одним из главных средств к достижению этой последней цели, по моему глубокому убеждению, может и должно служить наше вольное всенародное казачество, бесчисленное множество наших святых и несвятых бродяг, богомоллов, бегунов, воров и разбойников — весь этот широкий и многочисленный подземельный мир, искони протестовавший против государства и государственности и против немецко-кнutowой цивилизации. Это было высказано в безымянном листке “Постановка революционного вопроса” и вызвало у всех наших порядочников и тщеславных болтунов, принимающих свою доктринерскую византийскую болтовню за дело, вопль негодования. А между тем это совершенно справедливо и подтверждается всею нашею историею. Казачий воровско-разбойнический и бродяжнический мир играл именно эту роль союпителя и соединителя частных общинных бунтов и при Стеньке Разине и Пугачеве; народные бродяги — лучшие и самые верные проводники народной революции, приуготовители общих народных волнений, этих предтеч всенародного восстания, а кому не известно, что бродяги при случае легко обращаются в воров и разбойников. Да кто же у нас не разбойник и не вор? Уж не правительство ли? Или наши казенные и частные спекуляторы и дельцы? Или наши помещики, наши купцы? Я, со своей стороны, ни разбоя, ни воровства, ни вообще никакого противочеловеческого насилия не терплю, но признаю, что если мне приходится выбирать между разбойничеством и воровством восседающих на престоле или пользующихся всеми привилегиями и между народным воровством и разбоем, то я без малейшего колебания принимаю сторону последнего, нахожу его естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным. Народно-разбойничий мир, признаю, с точки зрения истинно человеческой, далеко, далеко не красив. Да что же красиво в России? Разве может быть что-нибудь грязнее нашего порядочного чиновно- или мещанско-цивилизованно-го и чистоплотного мира, скрывающего под своими западно-гладкими формами самый страшный разврат мысли, чувства, отношений и действий! Или, в самых лучших случаях, безотрадную и безвыходную пустоту. В народном разврате есть, напротив, природа, сила, жизнь, есть, наконец, право многовековой исторической жертвы; есть могучий протест против коренного начала всякого разврата, против Государства — есть, поэтому, возможность будущего. Вот почему я беру сторону народного разбоя и вижу в нем одно из самых существенных средств для будущей народной революции в России.

Я понимаю, что это может привести в негодование чистоплотных или даже нечистоплотных идеалистов наших — идеалистов всякого цвета, от Утина до Лопатина, воображающих, что они могут насильственным образом, посредством искусственной тайной организации навязать народу свою мысль, свою волю, свой образ действий. Я в эту возможность не верю,

а убежден, напротив, что при первом разгроме всероссийского государства, откуда бы он ни произошел, народ подымется не по утинскому, не по лопатинскому и даже не по вашему идеалу, а по своему, что никакая искусственная конспирационная сила не будет в состоянии воздержатъ или даже видоизменить его самородного движения, — ибо никакая плотина не в состоянии воздержатъ бунтующего океана. Вы все, мои милые друзья, полетите как щепки, если не сумеете плыть по народному направлению, — уверен, что при первом крупном народном восстании бродяжнически-воровской и разбойнической мир, глубоко вкорененный в нашу народную жизнь и составляющий одно из ее существенных проявлений, тронется, и тронется могущественно, а не слабо.

Хорошо ли это или дурно, это факт несомненный и неотвратимый, и кто хочет действительно русской народной революции, кто хочет служить ей, помогать ей, организовать ее не на бумаге только, а на деле, тот должен знать этот факт; мало того, тот должен считаться с ним, не стараясь его обходить, и встать к нему в сознательно-практическое отношение, уметь употребить его как могучее средство для торжества революции. Тут чистоплотничать нечего. Кто хочет сохранить свою идеальную и девственную чистоту, тот оставайся в кабинете, мечтай, мысли, пиши рассуждения или стихи. Кто же хочет быть настоящим революционным деятелем в России, тот должен сбросить перчатки; потому что никакие перчатки его не спасут от несметной и всесторонней русской грязи. Русский мир, государственно-привилегированный и всенародный мир, — ужасный мир. Русская революция будет несомненно ужасная революция. Кто ужасов или грязи боится, тот отойди и от этого мира, и от этой революции; кто же хочет служить последней, тот, зная на что он идет, укрепи свои нервы и будь готов ко всему.

Употребить разбойничий мир как орудие народной революции, как средство для совокупления и для разобщения частных общинных бунтов — дело нелегкое; я признаю его необходимость, но вместе с тем вполне сознаю свою полнейшую неспособность к нему. Для того чтобы его предпринять и довести его до конца, надо быть самому вооруженным крепкими нервами, богатырскою силою, страстным убеждением и железною волею. В ваших рядах могут найтись такие люди. Но люди нашего поколения и нашего воспитания к нему не способны. Идти к разбойникам — не значит самому сделаться разбойником и только разбойником, не значит делить с ними все их беспокойные] страсти, бедствия, часто гнусные цели, чувства, действия — но значит дать им новую душу и возбудить в них другую, всенародную цель — у этих диких и до жестокости грубых людей натура свежая, сильная, непочатая и неистощенная и, следовательно, открыта для живой пропаганды, если пропаганда, разумеется, живая, а не доктринерская, посмеет и сумеет подойти к ним. Об этом предмете я готов сказать еще много, если только придется мне продолжать с Вами эту переписку...»

Тем же летом из-под пера Нечаева вышел еще более одиозный документ — пресловутый «Катехизис революционера». Написан он рукой Сергея, но, безусловно, не без влияния Бакунина. «Катехизис» публиковался неоднократно (и размещен на многих интернет-сайтах). Написан он настолько емким и лапидарным языком, что приводить его фрагментарно почти не представляется возможным. Тем более что с композиционной точки зрения в нем нет ничего лишнего и изъятие какой-нибудь одной части сразу же нарушает

логику всех остальных. Поэтому считаем уместным привести полностью все его 26 пунктов.

\* \* \*

“

### Катехизис революционера

Отношение революционера к самому себе

1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией.

2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условностями и нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный, и если бы он продолжал жить в нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить.

3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает денно и ночью живую науку — людей, характер, положения и все условия настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.

4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему.

5. Революционер — человек обреченный, беспощаден для Государства и вообще для всякого сословно-образованного общества, он не должен ждать для себя никакой пощады. Между ним и обществом существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь или на смерть. Он должен приучить себя выдерживать пытки.

6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и ночью должна быть у него

одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неумолимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению.

7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение; она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединяться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции.

Отношения революционера к товарищам по революции

8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционным делом, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью его полезности в деле всеразрушительной практической революции.

9. О солидарности революционеров и говорить нечего: в ней вся сила революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполнении, таким образом, решенного плана каждый должен рассчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо.

10. У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела, только как на такой капитал, которым он сам и один без согласия всего товарищества вполне посвященных распоряжаться не может.

11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасти его или нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользой революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищам, с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить.

Отношение революционера к обществу

12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, в товарищество не может быть решено иначе, как единодушно.

13. Революционер вступает в государственный, сословный, так называемый образованный мир и живет в нем только с верою в его полнейшее скорейшее разрушение. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Он не должен останавливаться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащих к этому миру. Все и вся должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку.

14. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все высшие и средние классы, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в 3-е отделение и даже в императорский дворец (данный тезис почти дословно повторяет уже приводившуюся выше мысль Бакунина. — В. Д.).

15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий: первая категория неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных, по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих.

16. При составлении таких списков и для установления вышереченного порядка должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе. Это злодейство и эта ненависть могут быть отчасти и полезными, способствуя к возбуждению народного бунта. Должно руководствоваться мерой пользы, которая должна произойти от смерти известного человека для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, а также внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергичных людей, потрясти его силу.

17. Вторая категория должна состоять из таких людей, которым даруют только временно жизнь для того, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.

18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием, силой. Надо их эксплуатировать возможными путями; опутать их, сбить с толку и, по

возможности, овладев их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатства и сила сделаются, таким образом, неисто щимой сокровищницей и сильной помощью для разных предприятий.

19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибирать их к рукам, овладев их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат для них был невозможен, и их руками мутить Государство.

20. Пятая категория — доктринеры, конспираторы, революционеры, все праздноглаголящие в кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные, головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.

21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главных разряда: один — пустые, бессмысленные, бездушные, которыми можно пользоваться, как третьей и четвертой категориями мужчин; другие — горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего бесфразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории; наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и признавшие всецело нашу программу. Мы должны смотреть на них как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно.

Отношение товарищества к народу

22. У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но убежденное в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможны только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию и разобцению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию.

23. Под революцией народной товарищество разумеет нерегламентированное движение по западному классическому образцу — движение, которое всегда, останавливаясь перед собственностью и перед традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось везде низвержением одной политической формы для замещения ее другой и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожает в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции порядка и

классы России.

24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху. Будущая организация, без сомнения, выработается из народного движения и жизни. Но это — дело будущих поколений. Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.

25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания Московского государства не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с Государством; против дворянства, против чиновничества, против попов, против торгового мира и против кулака-мироеда. Мы соединимся с лихим разбойничьим миром: этим истинным и единственным революционером в России.

26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всеокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача.

Интересно, под какими пунктами нечаевского «Катехизиса» подписался бы Бакунин, а под какими нет. Думается, что под наиболее одиозными вряд ли бы подписался. Однако, хотя по своему личному складу Бакунин был исключительно добрым и доверчивым человеком, во имя революции он всегда готов был идти на крайние меры и согласиться со многим, что предлагал Нечаев. Но о терроре Бакунин не говорил (хотя и почитался многими будущими террористами — от народовольцев до эсеров). О терроре говорил Нечаев — да так, что и сегодня от его слов дрожь берет: «Данное поколение должно начать настоящую революцию... <...> должно разрушить все существующее сплеча, без разбора, с единым соображением “скорее и больше”. <...> Яд, нож, петля и т. п.! Революция все равно освящает в этой борьбе. <...> Это назовут терроризмом! Этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам все равно!»

Прямо скажем, странно-превратное представление было у Сергея Нечаева о революции, сводившейся, по существу, к глубоко законспирированному заговору и беспощадному индивидуальному террору. Народу же — главной движущей силе любой революции — отводится лишь роль зрителя, пассивно наблюдающего за развертыванием кровавой драмы. Одновременно Нечаев бросал вызов всему старому миру, о котором говорил с нескрываемой ненавистью и безо всяких нравственных обязательств: «Мы из народа, со шкурой, прохваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственных обязанностях и чести по отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла». Одним словом, трепещите, тираны...

Помимо всего прочего, Нечаев был прирожденным авантюристом и политическим мистификатором. За границей он уверял, что представляет несуществующий Всероссийский революционный комитет, за которым стоят сотни и тысячи не менее мифических последователей. В России же на малочисленных собраниях и сходках он, напротив,

утверждал, что является полномочным представителем Русского отдела Всемирного революционного союза, филиалы которого разбросаны по всем континентам и способны в любое время призвать к революционному выступлению широчайшие народные массы. Каждому желающему Нечаев демонстрировал мандат, написанный от руки Бакуниным и скрепленный его личной подписью, что производило магическое воздействие в любой молодежной (и не только молодежной) среде: «Как же — сам Бакунин, чье имя в России произносилось не иначе как шепотом!» Мандат был не фальшивым, а подлинным: в последний момент Бакунин по рекомендации Огарева сочинил означенную «бумагу» и вручил ее молодому другу.

Дабы опробовать на практике свои террористические методы борьбы, Сергей Нечаев в конце августа 1869 года под чужим именем отбыл из Швейцарии в Россию. 3 сентября он уже был в Москве, где вскоре организовал глубоко законспирированную подпольную группу под названием «Народная расправа». Расправа, однако, началась не с ненавистных царских сатрапов и церберов монархического режима, а с убийства собственного соратника, заподозренного в измене. Первой (и, по счастью, последней) жертвой нечаевской группы стал студент Земледельческой академии И. Иванов, коллективно задушенный в глухом углу академического парка. Замученного товарища добились из револьвера — выстрелом в голову — и утопили в неглубоком пруду.

Зверская сцена почти с фотографической точностью описана Ф. М. Достоевским в романе «Бесы». Труп обнаружили через четыре дня, завели уголовное дело и вскоре арестовали всех соучастников дикого преступления — за исключением Нечаева. Сергею вновь удалось ускользнуть от полиции и благополучно добраться до Швейцарии. Здесь за ним, как за опасным уголовным преступником, началась настоящая охота со стороны швейцарских сыщиков и русских тайных агентов. На политическое убежище рассчитывать не приходилось. Началась жизнь в условиях глубокой конспирации. Бакунин, проживавший в то время с семьей в Локарно, по-прежнему готов был предоставить молодому соратнику кровать, стол и тайное убежище, хотя Антося со дня на день ждала рождения ребенка.

Нечаев быстро освоился в новой обстановке и вскоре приступил к прежней пропагандистско-издательской деятельности. Материальных трудностей Сергей не испытывал, так как за неделю до смерти Герцена ему удалось с помощью Огарева получить вторую половину «бахметьевского фонда». После смерти Герцена пределом нечаевских мечтаний стало возобновление издания герценовского «Колокола» и привлечение к редакционной работе Огарева, Бакунина, а для преемственности — членов семьи Александра Ивановича. Последние, как и Бакунин, категорически отказались, Огарев согласие дал. В марте 1870 года тысячным тиражом вышел первый номер возобновленной самой знаменитой русской нелегальной газеты. На титуле значилось: «Орган русского освобождения, основанный А. И. Герценом (Искандером). (Под редакцией агентов русского дела.)». От прежнего «Колокола» он отличался как небо от земли. Всего вышло шесть номеров, никакого влияния на общественное мнение ни в России, ни за ее пределами они не оказали.

О деталях убийства петербургского студента Иванова русская эмиграция поначалу ничего не знала. Считалось, что его настигло справедливое революционное возмездие, а за

Нечаевым закрепился ореол мученика. Истина открылась через полгода, когда четверо «нечаевцев» сели на скамью подсудимых и против них начался открытый судебный процесс, широко освещавшийся в русской и зарубежной прессе. У Бакунина наконец-таки открылись глаза; в своем дневнике он лаконично записал: «Процесс Нечаева. Какой мерзавец!» (Однако позже он скорректировал свое мнение.) Той же позиции придерживалось большинство русских эмигрантов. Но относительно выдачи беглеца в Россию мнение было не столь однозначным. По этому поводу состоялось даже специальное собрание эмигрантской общественности под председательством Огарева, к какому-то определенному решению оно не пришло. Бакунин же переживал подлинную внутреннюю драму. Полный и окончательный разрыв с недавним другом давался ему нелегко. Слишком много надежд возлагалось на этого человека. По существу, сам он был сплошная, не оправдавшая себя надежда.

В конце концов Бакунин также простил Нечаева, как его самого простил отец. Он и на самом деле чувствовал к своему ученику отеческую привязанность, она легко прочитывается между строк в прощальном письме Сергею: «На Вас я не сержусь и не делаю Вам упреков, зная, что, если Вы лжете или скрываете, умалчиваете правду, Вы делаете это помимо всех личных целей, только потому, что Вы считаете это полезным для дела. Я и мы все горячо любим и уважаем Вас именно потому, что никогда еще не встречали человека, столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как Вы. <...> Я признавал и признаю в Вас огромную и, можно сказать, абсолютно чистую силу — чистую от всякой себялюбивой и тщеславной примеси, силу, подобную которой я не встречал еще в других русских людях...»

Подчеркнутые в письме Бакунина слова «мы все» не случайны. Он имел в виду не только Огарева, но и развертывавшийся на его глазах роман между Нечаевым и старшей дочерью покойного А. И. Герцена Натальей Александровной (или, как все ее звали, Татой) (1844–1936). Впечатлительное, отзывчивое, утонченно воспитанное и вместе с тем легко ранимое существо (к тому же страдавшее нервным заболеванием), она после смерти отца стала подлинной наследницей его дела: именно в ее руках оказалось теперь решение многих финансовых, издательских и организационных вопросов. Бакунин с Огаревым (как, впрочем, и многие другие) души в ней не чаяли, а последний просто называл ее своей дочерью. С беззаветной самоотверженностью, на какую способны только русские женщины, Тата попыталась отдаться делу революционной борьбы, считая это к тому же и прямым дочерним долгом. Возможно, со временем она могла бы сделаться непреклонной революционеркой, одной из тех, кто не колеблясь бросались с револьвером и бомбой на царских сатрапов и заканчивали свою жизнь на виселице или в бессрочном заключении. Возможно... если бы на ее пути не встретился Нечаев.

Сначала их связывали только эпизодические деловые отношения. Тата была на три года старше двадцатидвухлетнего Сергея. Вполне естественно, что у молодых людей возник интерес друг к другу. Хотя впоследствии Наталья Герцен, прожившая после описываемых событий еще шестьдесят шесть (!) лет, категорически отрицала какую-либо симпатию к Нечаеву, а после ее смерти существование неформальной переписки с Сергеем еще долго скрывалось наследниками, — факты свидетельствуют о другом. Во второй половине XX века — сначала на французском, а затем и на русском языке — были опубликованы интимный дневник Натальи Александровны Герцен и письма Нечаева, в которых теоретик всемирного

терроризма трогательно и настойчиво объяснялся в обыкновенной земной любви к дочери самого известного русского эмигранта[40]. Нельзя утверждать, что Тата отвечала горячей взаимностью, но само количество писем и подробные дневниковые записи свидетельствуют о том, что ее интерес к пылкому влюбленному сохранялся достаточно продолжительное время. В 25—26-летнем возрасте девушка просто не может не задумываться о своей будущей семейной жизни, а Сергей Нечаев обладал не только импозантной внешностью, но и способностью гипнотически воздействовать на окружающих (в отношении противоположного пола это вполне объяснимое с научной точки зрения качество академик В. М. Бехтерев именовал «сексуальным гипнозом»).

События развивались своим чередом, пока их естественное и вполне предсказуемое течение не было остановлено появлением в Женеве молодого русского революционера Германа Александровича Лопатина (1845–1918). Нет, он явился не за тем, чтобы стать третьим элементом классического любовного треугольника. Его появление означало нечто более серьезное: Лопатин привез в Швейцарию разоблачения Нечаева, окончательно сделавшие его изгоем в глазах бывших друзей и соратников. Именно Лопатин раскрыл глаза Бакунину и русской эмигрантской общественности на систематическую и отнюдь не безвинную ложь Нечаева, касающуюся собственной биографии (например, мифического побега из Петропавловской крепости) и, главное, существования в России мощной и разветвленной революционной организации[41]. Именно Лопатин рассказал Бакунину, в какую некрасивую историю тот попал в связи с шантажом — вплоть до угроз физической расправы — русского издателя перевода первого тома Марксова «Капитала», с которым Бакунин в свое время подписал контракт. Наконец, именно Лопатин поведал всем о той гнусной роли, которую сыграл лично Нечаев в зверском убийстве студента Иванова. И привел доказательство: у Сергея фаланга одного из пальцев была глубоко прокушена до кости, когда умиравшая жертва в смертельной конвульсии сжала зубы на душившей ее руке.

Последний факт поразил Наталью Герцен в самое сердце: она еще в первую встречу с Сергеем обратила внимание на эти шрамы и получила какое-то неправдоподобное объяснение. Теперь же, узнав истинное лицо Нечаева, Тата не только прекратила с ним всякие отношения, но и вообще решила выйти из революционной борьбы. Бакунину, одному из немногих, кому она доверяла и с кем была предельно откровенна, Наталья Герцен писала: «Надеюсь, что вы мне не будете больше делать упреков за то, что я с недоверием относилась к нашему protege и всем его делам, Михаил Александрович? Вам должно казаться естественно то, что не было для меня неясно в наших делах, что я так долго колебалась, стараясь добиться до правды, до ясного понимания, и убедившись, что это почти невозможно, решила отстраниться и не иметь ничего общего с этими неясными русскими делами — несмотря на бесконечные разговоры и споры и на все усилия ваши, Огарева и Нечаева убедить меня в том, что я погибну, если не буду участвовать в них.

Я помогла себе вообразить, что кто бы то ни было, в самом деле, может увлечься этой отвратительной иезуитской системой, быть ей верен до такой возмутительно-бесчеловечной степени, как Нечаев, — ведь последовательность доходит у него до уродства! Как вы можете еще думать о возможности работать с ним после всего того, что произошло между вами — после всего того, что вы сами рассказывали в вашем письме? На чем же будет основано ваше доверие? А если его нет — как же вы будете с ним работать? Почему вы

знаете, что если Нечаев и примет, да, пожалуй, еще подпишет Ваши условия (своим настоящим или каким-нибудь выдуманным именем), что он тайком не будет точно так же надуть Вас, как он это делал в продолжение всего вашего знакомства? Для меня это было бы решительно невозможно. Он хотя и не магнетизировал меня никогда, как вы думаете, кажется (судя по всему, Бакунин оказался все-таки прав! — В. Д.), но он сделал хуже — он отравил и парализовал (так!) меня тем, что он развил во мне такое недоверие, от которого я долго не отделаюсь. Теперь я ни в каких русских делах участвовать не могу и не хочу...» (выделено мной. — В. Д.).

Удрученный сложившейся ситуацией, Бакунин немедленно отреагировал, как он сам выразился, «соборным посланием», обращенным не к одной только Тате, но и еще к четырем доверенным лицам — к Огареву, Озерову, Серебренникову и Жуковскому (такие письма обычно именуют циркулярными). В обширном письме Михаил Александрович попытался взять под защиту не столько самого Нечаева как заблудшую личность, сколько тезис о необходимости иметь во главе революционного движения в России именно такого вожака и организатора, каким являлся Нечаев. Однако общетеоретические соображения быстро отодвинулись на задний план и превратились в настоящую апологию преступника, обращенную прежде всего к Наталье Герцен, дабы попытаться разубедить ее в поспешных категорических выводах.

Бакунин по-прежнему называет Сергея другом и поясняет, что употребляет это слово не в ироническом, а в самом серьезном смысле, ибо несмотря ни на что не перестал смотреть на него как на самого драгоценного (даже — святого!) для русского дела человека — в смысле всецелостной преданности делу и совершеннейшего самоотречения, к тому же одаренного такою энергией, постоянством воли и неутомимую деятельностью, каких никто, никогда и нигде не встречал. Никто не может отрицать в нем этих качеств. Значит, Нечаев — «золотой человек, а золотых людей не бросают». Следовательно, и усилия друзей должны быть устремлены на сохранение его для общего дела.

Безусловно, утверждает Бакунин, в этом золотом, страстно преданном человеке много значительных недостатков, чему удивляться не следует: чем сильнее и страстнее натура, тем ярче выступают ее недостатки. Добродетелен, в смысле отсутствия недостатков, только ноль. Нечаев отнюдь не добродетелен и не гладок, напротив, он очень шероховат, и возиться с ним нелегко. Но зато у него есть огромное преимущество: «...он предается и весь отдается там, где другие дилетантствуют; он — чернорабочий, другие — белоперчаточники; он делает, другие болтают; он есть, других нет; его можно ухватить и крепко держать за какой-нибудь угол, другие так гладки, что непременно выскользнут из ваших рук». Эти другие люди в высшей степени приятны, а он человек совсем не приятный. Несмотря на это, заключает Бакунин, он предпочитает Сергея всем другим, любит и уважает его больше, чем многих других соратников.

Затем учитель переходит к характеристике недостатков своего ученика и выяснению причин, их обусловивших. Бакунин категорически отвергает, как он выражается, «ложную систему иезуитских приемов и лжи», избранную Нечаевым для осуществления своих революционных замыслов. Но почему же, спрашивает судья-обличитель и адвокат в одном лице, подсудимый выбрал такую систему? Разве вследствие ли какого-нибудь порока,

гнездящегося в его существе: эгоизма, самолюбия, честолюбия, славолубия, или корыстолюбия, или властолюбия? И отвечает — самому себе и своим адресатам: нет — кто знает хоть сколько-нибудь Сергея, тот поклянется не в том, чтоб у него не было ни малейшего зародыша этих пороков (во всяком нормальном человеке, и особенно в натурах сильных, есть зародыш всех возможных пороков), — а в том, что жизнь его была такого рода, что большая часть ее не могла в нем развиться, и потому, что в нем все другие страсти подавлялись высшею, революционной или народно-освободительною страстью. Он — высокий фанатик и имеет все качества, а также и все недостатки фанатика. Такие люди бывают часто способны на страшные ошибки.

«Пусть Огарев вам расскажет историю, — пишет Бакунин, — о том, как наш общий друг, покойный Белинский, вдруг сделался яростным поклонником и проповедником царской власти, к ужасу всех друзей. Вот до таких пароксизмов нелепости могут иногда доходить в развитии своем натуры искренние, святые и страстные. А ведь [Нечаев] еще очень молод, и развитие его далеко не кончилось. В основе всего нравственного и умственного существа его — я говорю и утверждаю это с полною уверенностью и по праву, потому что в прошедшем году в продолжение четырех месяцев сряду я жил с ним вместе, можно сказать, в одной комнате, и проводил почти каждую ночь в разговорах о всевозможных вопросах. <...> Итак, я повторяю, в основе всего существа и всех стремлений его лежит страсть к народу, негодование за народ и дикая ненависть ко всему, что давит его, а следовательно, прежде всего к правительству, к государству. Я не встречал еще другого такого искреннего и последовательного революционера, как он. [Нечаев] умен, очень умен, но ум его дик, как его страсть, как его природа, и развился далеко не всесторонне, хотя и не лишен развития значительного. Но в нем все: и ум, и сердце, и воля — а сердца и воли в нем много — все подчинено главной страсти разрушения настоящего порядка вещей; а, следовательно, его ранней мыслью должно было быть создание организации или коллективной силы, способной исполнить это великое дело разрушения — составление заговора».

Призвав на помощь все свое мастерство агитатора, Бакунин пытался убедить ближайших друзей и соратников, что России и мировой революции еще будут нужны такие люди, как Нечаев: «Мысль и цель его ясны: он видел и слишком сильно чувствовал и понимал, с одной стороны, громадность государственной силы, которую надо разрушить; видел с отчаянием, с другой стороны, историческую неразвитость, апатичность, разбросанность, бесконечную терпеливость и тяжелоподъемность нашего православного народа, который, если б понял и захотел, одним махом своей могучей руки мог бы свалить всю эту государственную постройку, но который, кажется, еще спит сном непробудным, — и, наконец, видел, с третьей стороны, дряблость нашей молодежи, теряющей всю энергию в нескончаемом и бесцельном резонировании и болтании. В таком виде явилась перед ним русская действительность. Как сломать ее? Где та Архимедова точка, на которую могло бы дело поставить рычаг для того, чтоб поднять этот мир и поставить его вверх ногами? Точка — общая русская беда; рычаг — молодежь. Но в своем настоящем виде эта молодежь далеко еще не рычаг, а паршивое, развратно и бессмысленно доктринерствующее и болтающее стадо. Значит, надо прежде всего преобразовать ее, переменить ее нравы и обычаи.

Что развращает ее пуще всего? Влияние общественной среды. Значит, надо ее оторвать от этой среды. Она привязана к ней двумя нитями: 1-я — карьера; 2-я — семейные связи,

сердечные привязанности и тщеславно-общественные отношения. Поэтому надо было... <...> сделать возврат к обществу невозможным — точно так же надо было разбить все семейные связи, все сердечные и тщеславные связи с обществом — и таким способом образовать фалангу суровых абреков, у которых бы сохранилась одна страсть: страсть государственно-общественного разрушения. Согласитесь, что это фантазия не маленького ума и не маленького сердца и что в этой фантазии, увы! много законного и много истинного».

Некоторые пассажи обширного бакунинского эпистолярного послания предназначались исключительно для Таты и, по существу, являлись ответом на ее заявление об окончательном разрыве с Сергеем. Однако на правах старшего друга и наставника, близкого по возрасту покойному отцу, Бакунин пытался внушить Наталье Герцен совсем иное видение Нечаева: «Этот человек полон любви, да иначе и быть не может: у кого нет любви, тот не мог бы действовать с таким полным самоотречением, с таким полным забвением не только своих удобств, выгоды, личных желаний, стремлений и чувств, но даже своей репутации и своего имени, — он готов обречь себя на бесчестье, на общее презрение, даже на совершенное забвение о нем для освобождения народа. В этом состоит его глубокая, высоко-доблестная и девственно-чистая правда — и силою этой чистоты и правды он давит всех нас: хотим не хотим; если мы хотим быть честными перед самими собою, мы должны перед ним преклониться. Он глубоко любящий человек, он привязывается к людям страстно и все готов отдать своим друзьям, и никак уж нельзя причислить его к тем холодным умам и натурам, которые для достижения своих целей играют людьми, как манекенами. Он не самолюбивый эгоист и не интриган, мои милые друзья, потому что он не преследует своих целей и не только не жертвует ни одним человеком для своей выгоды, для своей славы или для удовлетворения своего честолюбия, но скорее готов пожертвовать собою для всякого. В этом человеке нежное сердце...»

Да, Бакунин продолжал искренне верить, что только люди, подобные Нечаеву, способны создать в России дееспособную организацию и пробудить народ ко всеобщему бунту. А поскольку в среде русской эмиграции (не говоря уже о ситуации в родном отечестве) похожих людей не было и в помине, постольку оставалось одно — закрыть глаза на вопиющие недостатки Сергея и принять его интерпретацию убийства студента Иванова. В конце концов с предателями беспощадно расправлялись во все времена, в любой общественной формации и в массовом масштабе. И что — за это тоже должен отвечать Нечаев? Лучше не громоздить против него все новые и новые обвинения. Попытаться помочь вновь встать в строй борцов за освобождение человечества.

Возврат Сергея в сообщество честных революционеров, пишет Бакунин в заключение своего «соборного послания», «труден, но не невозможен. А так как он человек драгоценный, и лучше, и чище, и преданнее, и деятельнее, и полезнее нас всех, вместе взятых, — то, оставив все мелкие и самолюбивые движения своей души, все личные чувства и обиды свои в стороне, — я говорю это особенно для Вас, Тата, — мы должны дружно соединить свои силы для того, чтоб помочь ему выкарабкаться из омута и дать ему возможность на основании взаимной правды, веры и совершенной прозрачности стать в наши ряды, впереди наших рядов — потому что он все-таки будет самым неутомимо и беспощадно деятельным между нами.

Для этого мы должны:

во-первых, уговорившись между собою, без всякого личного самолюбия и без всякой личной обиды для него, поставить ему твердо, определенно и ясно наши условия;

а во-вторых, мы должны, разумеется с его помощью, употребить все усилия для того, чтоб защитить его против злостно-сплетнической болтовни милых и немилых бездельников, спасти его честь и по возможности очистить его имя».

\* \* \*

Швейцарская полиция и русские тайные агенты шли по следу Нечаева, как собаки-ищейки. В конечном счете по наводке провокатора он был выслежен, арестован и выдан русской полиции. Бакунин тотчас же откликнулся на это событие в письме Огареву от 2 ноября 1872 года: «Итак, старый друг, неслыханное совершилось. Несчастливого Нечаева республика (Швейцарская. — В. Д.) выдала. Что грустнее всего, это то, что по этому случаю наше правительство без сомнения возобновит нечаевский процесс, и будут новые жертвы. Впрочем, какой-то внутренний голос мне говорит, что Нечаев, который погиб безвозвратно и без сомнения знает, что он погиб, на этот раз вызовет из глубины своего существа, запутавшегося, загрязнившегося, но далеко не пошлого, всю свою первобытную энергию и доблесть. Он погибнет героем, и на этот раз ничему и никому не изменит. Такова моя вера. Увидим скоро, прав ли я. Не знаю, как тебе, а мне страшно жаль его. Никто не сделал мне, и сделал намеренно, столько зла, как он, а все-таки мне его жаль. Он был человек редкой энергии, и, когда мы с тобою его встретили, в нем горело яркое пламя любви к нашему бедному забитому народу, в нем была настоящая боль по нашей исторической народной беде. Он тогда был еще неопрятен снаружи, но внутри не был грязен. Генеральствование, самодурство, встретившиеся в нем самым несчастным образом и — благодаря его невежеству — с методою так называемого макиавеллизма и иезуитизма, повергли ее окончательно в грязь...»

В этих в основном доброжелательных словах весь Бакунин с его большим, открытым и, к сожалению, уже очень больным сердцем... Что до Нечаева, то суд приговорил его к пожизненному заключению. Его поместили в одиночную камеру Алексеевского рavelина, где ему суждено было провести почти десять лет. По иронии судьбы поначалу он оказался в той же самой одиночке, где когда-то сидел Бакунин. После бурных событий, едва не завершившихся восстанием в Петропавловской крепости, и суда над «перевербованными» им солдатами-охранниками, приговоренными к различным тюремным срокам, условия содержания Нечаева в одиночной камере ужесточились до предела. Он был лишен всего, что обычно еще полагалось даже самым злостным государственным преступникам, — чтения, прогулок, бани, теплой зимней одежды, покупки дополнительных продуктов. Рацион казенного питания урезали настолько, что, по существу, он означал медленную смерть от голода. Цинга и водянка ускорили трагический конец. Узник перестал передвигаться и через какой-нибудь год скончался от истощения сил и неизлечимых болезней. Труп закопали в неизвестном месте, все написанное заключенным за время пребывания в крепости сожгли...



С недавнего времени вошло в моду не только отождествлять Бакунина с Нечаевым, но и сравнивать то с одним, то с другим героем романа Ф. М. Достоевского «Бесы»[42] (как и вообще поминать этот классический шедевр к месту и не к месту). Чаще всего Бакунина называют прототипом Николая Ставрогина. В действительности между двумя этими личностями — реально-исторической и литературно-вымышленной — нет практически ничего общего, за исключением разве что армейского прошлого: оба служили в неохоту и рано вышли в отставку. Безусловно, в романе Достоевского есть носители бакунинских идей, а также налицо попытка персонифицировать и окарикатурить некоторые мысли, традиционно приписываемые Бакунину.

Наиболее характерным в данном плане является Петр Верховенский, идейным вдохновителем и образцом для подражания которого в романе выступает Николай Ставрогин. Главная цель («хрустальная мечта») Петруши Верховенского — устроить такую смуту на Руси, чтобы «все поехало с основ». «Весь... шаг пока в том, чтобы все рушилось: и государство, и его нравственность, — разглагольствует Верховенский-младший. — Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. <...> Мы провозгласим разрушение. <...> Надо косточки поразмять. Мы пустим пожары. Мы пустим легенды. <...> И начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видел... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам». Затем предлагается «пустить самозванца (Ивана-царевича)», что будет лучше всякого социализма. Для всего этого хороши любые средства — пьянство, разврат, а всякого гения желательно «потушить в младенчестве». Два поколения разврата, «и человек превращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь». Разве это Бакунин? Это, скорее, реалии России конца XX — начала XXI века, гениально предвиденные великим русским писателем!

У Достоевского, разочаровавшегося в идеях утопического социализма фурийского типа, еще на каторге сложилось стойкое убеждение о пагубности революционного движения для России. В романе «Бесы» это представление приобрело пародийно-гротескную форму и зажило своей особой литературной жизнью, не имеющей никакого отношения ни к биографии, ни к мировоззрению Бакунина. Так, в эпизоде обсуждения бредовой концепции Шигалева теория всеобщего разрушения превращается в тезис о необходимости «срезать 100 миллионов голов». Ничего подобного ни Бакунин, ни даже Нечаев никогда не предлагалось. Напротив, выше приводилось бакунинское высказывание, диаметрально противоположное приведенному. Что касается сопряженности бакунизма с нечаевщиной, то реальное положение дел также было уже рассмотрено выше. Казалось бы, убийство группой Верховенского — Ставрогина порвавшего с ними Ивана Шатова детально списано с реального факта убийства «пятеркой» Нечаева студента Иванова. Безусловно, Достоевский пристально следил за нечаевским процессом, и у него были веские (хотя и субъективные) основания связывать нечаевщину с идеями и влиянием Бакунина. В романе же «Бесы» всё смешалось — реальность и домыслы. В результате бакунинские идеи (которых Достоевский досконально не знал) претерпели в художественном произведении значительную трансформацию.

Бакунин поминается в «Бесах» косвенно, в связи с замечанием второстепенного персонажа — демагога Липутина — о взглядах Алексея Кириллова, четыре года проведенного за границей: дескать, он является приверженцем «нового принципа всеобщего разрушения». Действительно, Алексея Ниловича Кириллова можно считать анархистом чистой воды, хотя его пессимистическая философия смерти к идеям Бакунина никакого отношения не имеет. Зато некоторые пункты бакунинской политической философии и атеизма обнаруживаются в тексте прокламаций, что некогда в Петербурге распространял молодой Лебядкин: «Закройте церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи». (Достоевский, кстати, делает знаменательное замечание: атеист вообще не может быть русским человеком.)

Одним словом, считать Бакунина прообразом каких-либо персонажей романа «Бесы» — это более чем натяжка. Бакунин — это не висельник Ставрогин и не политический шулер Верховенский-младший. Бакунин — это Бакунин и никто другой, личность титаническая, колоритная и неповторимая, чуждая ставрогинскому имморализму и беспринципности Петруши Верховенского. Монументальная личность «апостола свободы» попросту не может иметь что-либо общее с суетливым болтуном Верховенским или утонченным развратником и насильником Ставрогиным: имеется в виду не только оболечение трех главных женских персонажей романа — Марии Лебядкиной, Лизы Дроздовой и Дарьи Шатовой, — но и надругательство над десятилетней девочкой Матрешей, повесившейся, не перенеся позора (глава «У Тихона», отклоненная при первопубликации романа по цензурным соображениям).

Достоевский блестяще воссоздал и разоблачил им же придуманную бесовщину русской интеллигенции. Что касается вечно мятущейся и ищущей русской души, насквозь сотканной из противоречий, то здесь позиция писателя намного сложнее. Более того, как бы парадоксально сие ни прозвучало, она сродни бакунинской, еще в годы далекой молодости сложившейся под влиянием классической немецкой диалектики. Противоречивость русской души самого Достоевского, пожалуй, лучше всего иллюстрирует эволюция образа одного из самых праведных и наиболее близких писателю героев — Алеши Карамазова.

Как известно, последний роман Достоевского «Братья Карамазовы» должен был завершиться самым непредсказуемым и парадоксальным образом. По воспоминаниям друзей Федора Михайловича и его вдовы, Алеша Карамазов, полностью и окончательно разочаровавшись в гнусностях повседневной жизни и произволе властей, становится революционером (по некоторым данным — народовольцем-террористом) и участвует в подготовке царевубийства. Что это — все та же бесовщина? Ничуть! Это закономерное развитие человека, который, как и другие его два брата, не приемлет жуткую действительность, обусловленную существующим общественным строем. Чтобы что-то изменить, требуется прежде всего сломать, взорвать, уничтожить существующую систему общественных отношений и поражающий их базис. Не бакунинская ли это мысль? Не напоминает ли Алеша Карамазов в этой своей нереализованной ипостаси молодого бунтаря Мишеля Бакунина?

---

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 30 июня 2025 19:25:29

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 30 июня 2025 19:31:39